

Памяти родителей

Внуково — самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, всё быстро:

- Откуда?
- Из Вильнюса.
- Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены — проходи.

Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний — “Такси, такси в город, недорого”, как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно — стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехаться им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть — не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались — в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта, — там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд — как же поздно ты все понимаешь! — да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

— Спецрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

“Рак зэ хасэр лану” — только этого нам не хватало — весь известный тебе иврит.

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмоскovie и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду — “Приезжаем шестой уже год”, “Верим в народ, в страну”.

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

— Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волоча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

— Какие эмоции вызывает у вас это место? — спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

— Для меня Зарасай — не место даже, а время. — Чтоб не искать слова: — *Paradise lost*, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? — О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

— Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной — впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплексные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И природа, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

— Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: “Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханным москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе — ощущаешь его пронзительность”.

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: “Хочу в Зарасай, где провел столько времени — каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, только не в Зарасай. Это и означает — жить не своей жизнью”.

Тут ветрено, чисто — почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

— Просторно, — улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

— Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один — в Сан-Франциско, другой — в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь — ни навигатор, ни провожатые не нужны.

“Здесь дом стоял...” — двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили, со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. “Так вот с кем мы дело имеем...” — сказала мама без выражения, — гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парт-орг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец — во всякое время. Летом жил наверху, а зимой — тут приблизительно, где теперь стоишь ты. “И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна...”

Стихи стихами — исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались — вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август, — тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитошей, дружком на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту “Дельфин”, гэдэеровскую, клееную-переклееную (тогда было принято ве-